

БИРОБИДЖАНСКАЯ СКАЗКА

Беседа писателя Александра Мелихова с критиком Галиной Ребель

Г.Р.: Александр, позвольте наш разговор о вашем новом романе «Красный Сион» начать с того, что меня как читателя больше всего в нем «зацепило» и о чем, как мне кажется, в первую очередь должны быть предупреждены будущие читатели. Предупреждены — в смысле проинформированы, заинтересованы и — отнюдь не на легкое чтиво — настроены.

Самое сильное, несомненное, болевое и страшное в этой книге — судьба маленького Бенци, его исход из безмятежного, нормального семейного мира, в котором все существует в единственном числе и все это единственное (Мама, Папа, Сестры, Брат) несомненно и прекрасно, — в рассеяние, скитальчество, корчи, умирание души, скукоживающейся до состояния крошечной споры, чтобы могло выжить хранящее ее физическое тело. Судьба мальчика из семьи польских евреев, в начале Второй мировой войны оказавшейся между молотом и наковальней и кинувшейся от неминуемых газовых камер немецкого фашизма под защиту менее изоциренного технологически фашизма советского, заставляет вспомнить судьбы Кузьмешей А. Приставкина, но в сравнении обнаруживается, что тот ужас еще не был крайним, предельным ужасом. Там кошмару, навязанному извне, противостоит скрытая, потенциально возможная благодарная память о канувших в неизвестность родителей, ибо есть подаренное ими, сохраненное и хранящее детей вопреки всему братство — здесь навязанный извне кошмар проникает в сокровенное, интимное, единственное: навеки отчуждает ребенка и от интеллигентски беспомощного, обреченного в троглодитской ситуации отца, и от мгновенно утратившей интеллигентность, а с нею и материнскую самоотверженность и безупречность матери. Этот кошмар убивает оставшуюся в памяти героя тенью-символом сестру Рахиль — «еврейскую принцессу», умершую от неспособности перенести унижение физиологической обнаженностью подконвойного существования в товарняке, везущем семью в северную ссылку, и, как следствие, от разрыва мочетого пузыря. Расходится Бенци на многотрудных путях борьбы за существование и со своим братом Шимоном по прозвищу Казак, предпринявшим отчаянную попытку оправдать прозвище, но отнюдь не преуспевшим в этом попахивавшем уголовщиной деле.

Путь Бенци Давидана, ставшего на исторической родине, в подлинном Сионе, писателем Бенционом Шамиром, — это путь необратимых и невозможных потерь. Чудом возвращенные из небытия по прошествии долгих десятилетий мать и брат Шимон, и новоприобретенная жена Рахиль, и даже сын и внуки — все окажутся подменной, имитацией, «ургаланами», как назвал бы это А. Иванов, жалкими подобиями тех людей и тех чувств, которые навсегда остались в прошлом. И это жестокое, кровавое, голодное прошлое, в котором один за другим погибали физически или разрушались нравственно дорогие Бенци люди, в котором он сам предпочитал превратиться — и превращался — в «незаметного безвредного моллюска», сделало его своим вечным пленником — навсегда надорванным душевно, навсегда бездомным, навсегда одиноким.

Ваша книга обрушивает сложившиеся стандарты и мифы — про сплоченность еврейского народа, про безоглядно преданную и самоотверженную еврейскую мать, про хитроумие, избрительность и непотопляемость еврея-Улисса. Так получилось непроизвольно или вы действительно не разделяете, считаете мифами эти расхожие представления и сознательно оспариваете их? Пожалуй, вы, в таком случае, опровергаете и себя как автора «Исповеди еврея»...

А.М.: Вообще-то я всегда стараюсь каждое принципиально важное свое суждение с равной силой сначала обосновать, а потом опровергнуть — этого требует трагический взгляд на социаль-

ную действительность: в ней борются не истина с ложью, а истина с истиной. И если «Горбатые атланты» выражали ужас перед человеческим одиночеством, то следовавшая за ними «Исповедь еврея» выражала ужас перед человеческой сплоченностью. Однако этот ужас был всего лишь субъективным чувством одиночки, чувством, бессильным опровергнуть такое же субъективное чувство коллективиста, который лишь в единстве с другими обретает душевный комфорт.

«Исповедь» — это, если угодно, история обращения трехсотпроцентного русского в стопроцентного еврея. По крайней мере, в один из типов еврея советского. Вначале Лева Каценеленбоген наделен всеми истинно русскими доблестями в тройном размере: рубаха-парень, патриот, храбрец, силач и даже красавец в глазуновском вкусе. И только где-то под майкой прячется едва заметная черная метка — папа-еврей. Пустячок, как выразился Пушкин в «Сказке о царе Никите». Всего-то изредка кто-то дает ему понять, что он не такой, как все, а немножко более жадный, более хитрый, более трусливый... И вот эти капли вытачивают из восторженного пацана взрослого скептика, не склонного приходить в энтузиазм, кидаться в объятия, жертвовать, сливаться с массой... Но тайно завидующего тем, кто на это способен. И стремящегося в отместку оплевать всякое Единство, в котором люди ощущают себя сильными и уверенными.

Помните итоговую формулу Каценеленбогена: нацию создает общий запас воодушевляющего вранья. Ему кажется, что этим он полностью дискредитирует всякое национальное единство: ведь не может представлять ценность то, что основано на лжи! Это взгляд отверженца, которого в Единство не пускают: виноград зелен. Зато Бенцион Шамир, обретший родину, утверждает ровно обратное: все великое основано на какой-то сказке. Собственно, для того же самого он находит более красивое слово, как и рекомендует герой моей предыдущей вещи «В долине блаженных» («Новый мир», № 7, 2005), тоже, кстати, написанной на еврейскую тему. Ни один народ, считает Шамир, не представляет собой никакой ценности — ценность представляют только сказки, которые он хранит и которые его хранят.

И «Красный Сион» вовсе не обрушивает сказок о еврейской сплоченности, о самоотверженности еврейских матерей и о непоколебимости еврейских Улиссов: до тех пор, пока евреи верили в эти сказки о себе, они им и соответствовали в гораздо большей степени, чем те, кто был подобных сказок лишен. Упадок веры в наследственные сказки — это и есть национальная деградация. Так что я эти мифы не обрушиваю, но только ставлю вопрос: какой уровень страдания и ужаса они способны выдержать?

И, как ни странно, советская сказка о пролетарском интернационализме оказалась на диво прочной. По крайней мере, в особо одержимых ею субъектах. Правда, весьма примитивных. В этом, по-видимому, и заключалась главная слабость советской сказки: она была не способна очаровать интеллектуальную элиту.

Г.Р.: *В вашем романе очень выразительно показано, как работает на «низовом уровне» мощная идеологическая пропаганда, подкрепленная к тому же неопровержимыми силовыми государственными акциями.*

«Польским вечным жидам», в числе которых Бенци попал под покровительство советской власти, обрекающей собственных граждан на страдания и гибель, было суждено вкусить и то и другое сторицей и при этом стать материалом, удобрием, почвой для взращивания одного из бесчисленных советских фантомов — Красного Сиона. Добровольным, самозабвенным и бескорыстным апологетом иезуитской идеи воздвигнуть альтернативный и демонстрационный еврейский социалистический рай на Дальнем Востоке выступает в романе взрослый друг маленького Бенци, сапожник Берл — один из самых ярких, запоминающихся героев романа. Берлу ни разу не удается сходу, без артикуляционной раскочки («Бери-», «Бори-») выговорить трудное слово «Биробиджан», но он с упоением цитирует на память речи и статьи политических авантюристов, провокаторов и дураков, захлебывающихся славословиями по поводу пролетарско-еврейских свершений под благодетельным патронатом советских вождей и, разумеется, лично товарища Сталина. Бесконечно наивный, в той же мере одержимый, сколь невежественный, Берл невменяем к правде советского бытия, он в упор не видит безнадежного расхождения между пропагандистскими лозунгами и реальностью. Умирая от истязаний, непосильного труда, невыносимых, нечеловеческих условий, этот уродливый горбун-мечтатель, на последней станции своего земного пути состоящий при «стадах Авраамовых» горбатых верблюдов, изо всех последних сил пытается соответствовать внушенной ему еврейско-пролетарско-социалистической

мечте и, в качестве моральной самокомпенсации, чувствует себя Моисеем, не достигшим Земли обетованной.

Разумеется, он безумец, слепец. Но вот вопрос: без этой слепой мечты, без этой фанатичной веры в заведомо неосуществимую идею как было выжить не только физически, но и морально, душевно, духовно тем, кто оказался между двумя Молохами — немецко-фашистским и советским? Адекватно оценивавший ситуацию отец Бенци выбрал самоубийство. Берл лелеял безумную мечту, которая, тем не менее, судя по всему (и вы это показываете во второй части), давала силы жить немалому количеству его таких же ослепленных советской пропагандой соплеменников. Так что был этот Красный Сион — чистой воды провокация? Беломорско-Балтийский канал национального назначения? Или все-таки шанс выжить? Актуализация национального мифа во имя спасения нации? И почему вдруг сегодня вы обратились к этой теме?

А.М.: На ловца и зверь бежит. Я как раз заканчивал «Долину блаженных» — размышление о путях такой малочисленной и кратковременной, но на редкость яркой социальной группы, как советские евреи, — когда издатель Константин Тублин, «Лимбус Пресс», предложил мне написать книгу о Биробиджане и даже выдал очень приличный аванс. И это пришлось абсолютно «в тему».

Для меня история человечества есть в первую очередь история зарождения, борьбы и распада коллективных фантомов, и никакая государственная пропаганда, никакая политическая провокация не добьются успеха, если им не удастся оседлать какую-то вечную или, по крайней мере, долговечную грезу. Пример тому — распад Советского Союза с его невиданной пропагандистской машиной и глухой цензурой.

То же самое можно сказать и о Красном Сионе: без наложения двух грез — о еврейском государстве и о слиянии всех наций в одну, грезе взаимоисключающих, хотя этого в ту пору почти никто не понимал — биробиджанский фантом раскрутить бы не удалось. Что это было? Как во всех масштабных исторических событиях, смесь наивной веры и изощренного цинизма, романтики и прагматизма. Одна задача была чисто хозяйственно-политическая: вывести излишек населения из-за черты оседлости, где нищета и безработица достигали чудовищных размеров, — притом, что это была приграничная полоса, от населения которой требовалась особая лояльность! Вместе с тем, стихийная миграция наиболее активной части местечкового еврейства в большие города и даже в сельскую местность Украины, Белоруссии, Крыма порождала недовольство местного населения, и советская власть с этим была вынуждена считаться. А тут требуется укрепить границу с расправляющей плечи японской милитаристской грезой, — так почему бы не убить двух зайцев разом?

Однако сам Калинин, инициатор дальневосточного проекта, долженствовавшего составить конкуренцию ближневосточной еврейской грезе, похоже, искренне верил в то, что говорил. Еврейская, мол, нация верная и заслуженная, а своей республики или хотя бы области не имеет; без крестьянского базиса еврейская нация обречена на растворение; Биробиджан нужно превратить во всемирный центр еврейской социалистической культуры — и так далее. Ведь ленинская национальная политика была задумана весьма хитроумно, не всякий и разберет. С одной стороны, пролетарская солидарность выше национальной, все нации должны слиться в одну (в какую — вопрос тонко обходился), с другой — всем нациям предоставляются возможности для свободного развития вплоть до отделения. Так что и сливаться — это по-ленински, и выделяться — тоже по-ленински. Каждый имел возможность слышать то, что ему по душе. Хотя во вполне доступных сочинениях Ленина и Сталина можно было прочесть, что право наций на самоопределение не более чем тактическая уловка. Ибо любая угроза национальным фантомам заставляет нацию сплотиться вокруг своей элиты («буржуазии»), а потому, чтобы разрушить национальные чувства, нужно прежде всего сделать вид, что им ничего не угрожает.

Кроме того, Ленин считал главной опасностью для своего излюбленного фантома — интернационального — русский национальный фантом, «великорусский шовинизм», как он его именовал, а потому для его разрушения считал целесообразным временно поддерживать конкурирующие с ним грезы малых наций, полагая, что, когда придет время, с ними легче будет справиться. Сталин же с самого начала был склонен коренником запрягать самую сильную лошадь — русскую, — чем и навлек на себя упреки в «истинно русском» настроении. Однако во время войны Сталин снова вернулся к этой идее, поскольку справедливо сомневался, способна ли интернациональная идея так уж сильно чаровать широкие массы. Он снова поставил на самого сильного, по возможности убирая с его глаз все, что может его раздражать.

С того-то времени и начали сначала прижимать, а потом и уничтожать тех, кто слишком всерьез принял декларации о свободном развитии всего национального. В конце сороковых биробиджанские поэты и прозаики поплатились именно за то, чего от них требовали: за воспевание своей малой декретной родины как чего-то обособленного, ибо иначе ничего воспеть невозможно. Мой виртуальный персонаж Мейлех Терлецкий — типичный певец Биробиджана, сочетавший героическую романтику с крайней наивностью, чтобы не сказать — примитивностью.

И тем не менее, если бы евреи из западных областей переселились в Еврейскую автономную область, доля выживших оказалась бы многократно выше. Те же, кто верил в биробиджанскую сказку, вроде моего Берла, были бы просто счастливы. А вот папа Бенци... Я не могу сказать, что он оценивал ситуацию адекватно, адекватно оценивают ситуацию только животные, а человек, пока он остается человеком, всегда служит каким-то воображаемым объектам. Папа продолжал служить личному достоинству, думать о репутации своего народа — и убил себя. Зато мама отбросила все красивые мнимости, полностью подчинилась обстоятельствам — и выжила.

Не всякая греза была спасительной — папу его греза погубила. Сестру Рахиль, пытавшуюся сохранить стыдливость в скотских условиях, — тоже. И брат Шимон по прозвищу Казак попытался оставаться крутым — и угодил в тюрьму. Да и сам Бенци выжил благодаря тому, что свернулся в спору, начал замечать лишь полезное и опасное...

Г.Р.: При всей значимости национального измерения человеческого бытия, ваша книга наглядно демонстрирует, как в нечеловеческой ситуации с человека сдираются все цивилизационные, в том числе национальные, оболочки и он остается зверенышем-сиротой, инстинктивно цепляющимся за жизнь. Но, едва отодвинувшись от смертельной черты, ощутив ослабление смертельных тисков, тело вновь востребует душу, а душа — сказку, легенду, дающую брэнному частному существованию непреходящий смысл, укореняющую его в прошлом, гарантирующую если не личное, то родовое будущее. Избавленный польско-советскими договоренностями от советского рая, едва не погибнув на не менее жестоком и мучительном, чем предыдущие, пути в Эрец Исраэль, Бенци попадает в «несомненный рай» — подлинный, реальный, вымечтанный предками Сион. Но жизнь его в Земле обетованной не описана, а лишь намечена легким пунктиром, дана в ее итоговом внешнем воплощении (известный писатель, лауреат множества премий, доктор философии), в ее семейной неурядице и безрадостности.

Как это ни парадоксально, Бенцион Шамир не только личного счастья, но и вождя сказки, мифологического оправдания своей жизни не обрел там, где, казалось бы, сам Бог велел это сделать и куда вроде бы вела логика текста. Ожидаемого противопоставления подлинного Сиона мнимому (Красному) Сиону в романе нет. Израиль здесь лишь некие условные координаты, в которых герой невнятно и несчастливо существует между двумя своими российскими эпопеями. Почему так? Ваш герой навсегда загипнотизирован, отравлен прошлым? И то, что было адом, теперь кажется несостоявшимся раем? Или здесь проявляется то самое меркурианство (см.: Юрий Слэзкин. «Эра Меркурия: Евреи в современном мире»), которое не позволяет еврею приткнуться к месту, врасти в почву, которое мечту о Сионе делает важнее, в том числе и с точки зрения национальной самоидентификации, чем реальный Сион?

А.М.: Ну, если в историю растоптанной сказки о дальневосточном Сионе включить подробную и яркую картину Сиона ближневосточного, то прежде всего изменится предмет повествования. Но не менее важно и то, что, телом выбравшись из ада, душой, воображением Бенци остался в нем до конца своих дней. Это, кстати, подтверждается и научными исследованиями: люди, прошедшие лагеря смерти, вместо того чтобы радоваться жизни, уже не могут ей верить, слишком хорошо разглядев ее без покрывала иллюзий. Как и мой Бенци, который каждую свою возлюбленную воображает в вонючем вагоне, в вошебойке и постоянно прикидывает, сколько беженцев на соломе разместилось бы в каждом знаменитом храме.

Хотя из старости эта цыганская жизнь уже и впрямь представляется ему почти райской: все были вместе, все были живы и еще не превратились в тех уродов, которых в конце концов выплюнул пощадивший их ад. Жизнь с близкими, вповалку, на соломе, манит его сильнее, чем одиночество в процветающей Земле обетованной.

Нет сомнений, что наши фантазии определяют наше счастье и наше несчастье в ничуть не меньшей степени, чем реальные события. И греза о Сионе для национальной самоидентификации безусловно была гораздо важнее, чем обретенная территория. Могу повторить: всякий народ создается и сохраняется не кровью и не почвой, а системой коллективных наследуемых грез.

Г.Р.: *Московская миссия Шамира, который уже в качестве израильского культурного посланника приезжает в Россию, включая его отношения с Рабиновичем-Абрамовичем, участие в каких-то «разборках», мне показалась невнятной, недостойной человека такого уровня и такой судьбы и (простите!) вообще лишней.*

Что касается, второй, биробиджанской, части, то здесь трагедия сменяется жалким фарсом, причем многоярусным, включающим в себя чужие тексты — образцы еврейско-советского соцреализма, и во всем этом теряется, превращается всего лишь в пассивного, в меру ироничного наблюдателя-читателя главный герой, который был заявлен как крупный писатель, — его несозданная сказка подменяется дилетантскими опытами доморощенного гения Мейлеха Терлецкого и самозабвенными и при этом саморазоблачительными рассказами-комментариями его жены.

Что концептуально означает невменяемость, убожество этих людей? Почему в это убожество как-то безвольно погружается главный герой? Что это — капитуляция перед бессмертной, вездесущей пошлостью, бессилие и смирение перед ней? Но такой трагически-экзистенциальный поворот — превращение старого Бенци в спору теперь уже не ради физического выживания, а ради эмоционально-психологического комфорта — не стыкуется с содержанием первой части — воспоминаниями, в которые он погружен и которые для него, похоже, являются единственной несомненной и значимой реальностью.

Есть тут еще один деликатный момент: использование в качестве объекта эстетической и идеологической дискредитации текстов реального автора...

Вообще, насколько вы в своем повествовании опирались на реальные факты, судьбы, документы?

А.М.: *Общая структура скитаний маленького Бенци полностью соответствует историческим фактам, этот путь проделал мой покойный друг, прекрасный израильский писатель Бенцион Томер. Однако все материальные детали пришлось выдумать, поскольку серьезные люди о таких пустяках не упоминают. Но вернемся к переходу трагедии в фарс. Для меня различие между ними целиком определяется масштабом личности, на которую обрушилось несчастье. А масштаб этот определяется исключительно той системой иллюзий, внутри которой пребывает сам эксперт. Здесь действует своеобразный принцип относительности: пребывая внутри системы, ты лишаешься возможности оценить ее критически, поскольку сами твои критерии истинности, ценности ею же и порождены. Невозможно проверить точность весов, пользуясь теми же самыми весами.*

Да, сказка о национальном государстве внутри интернационального, с нашей точки зрения, смехотворна. Но Мейлех Терлецкий отдал ей свою единственную жизнь! И потому он такой же герой, как какой-нибудь Курций, отдавший жизнь во имя великого Рима, как какие-нибудь триста спартанцев и прочие общепочитаемые герои. Ибо и они герои лишь внутри каких-то сказок. Которым просто повезло.

И невменяемость, убожество этого Мейлеха Срульевича Терлецкого и его супруги есть не что иное, как убожество любой Дульсины, которую рассматривает равнодушный взгляд постороннего, живущего другими фантазиями. И герой мой, «настоящий» писатель, погружается вовсе не в убожество, а в истинную трагедию, которая не сумела обрести тех форм, которые считаются почтенными и красивыми меж людьми господствующей культуры, господствующей системы мнимостей. Пошлость — это вовсе не ординарность или низкопробность, пошлость — это имитация изысканности. Бенцион Шамир, читая убогие сочинения героического Терлецкого, в миниатюре проходит ту давилню, которую прошли все советские писатели той поры, окруженные десятисортными эталонами. А потому тексты реального биробиджанского писателя Бориса Миллера используются не для их дискредитации, а, напротив, для их реабилитации. Вся биробиджанская часть романа — призыв сквозь убогую оболочку разглядеть вечную трагедию обманутой веры.

Г.Р.: *И все-таки возникает ощущение, что декларируемому масштабу личности главного героя не соответствует вторая часть и отведенная ему в ней роль. В первой части он выступает как скрытый автор, субъект повествования, а во второй словно личностно угасает и совершенно слагает с себя повествовательную инициативу. Что-то тут мне не совсем понятно конструктивно-логически. Впрочем, вполне допускаю, что непонятно только мне.*

А.М.: Я не могу оспаривать субъективное восприятие, мне остается лишь надеяться, что найдутся восприятия более благоприятные для моего замысла. Ведь читая любую книгу, мы не столько открываем ее истинное значение, сколько его создаем. А потом пытаемся внушить другим. Ведь споры о книгах — это тоже своего рода борьба грёз...